

БЛОКАДНЫЕ ИСПЫТАНИЯ: ДНЕВНИКИ ЛЕНИНГРАДЦЕВ В РУКОПИСНОМ ОТДЕЛЕ ПУШКИНСКОГО ДОМА

«Это надо пережить, чтобы понять» – такого рода утверждения блокадников неоднократно встречаются в дневниках, публикуемых в этой книге. Действительно, *непостижимое* время блокады Ленинграда понять трудно. Но вполне очевидно, что на пути осмысления тех далеких трагических дней не обойтись без дневниковых записей, которые «из первых уст» передают подлинные настроения и горестный опыт жителей осажденного города.

Бесспорно, письма и воспоминания также являются ценнейшими документальными свидетельствами о блокаде. Но нельзя не учитывать то, что письма из заблокированного Ленинграда, перлюстрируемые по законам военного времени, могли писаться с учетом прочтения их военной цензурой. Так автор первого публикуемого в данном издании дневника, поэт А. П. Крайский, сетовал: «Хотел написать дочке прощальное письмо, – не вышло оно. Из-за цензуры ничего толком не скажешь».

Кроме того, ни эвакуированные ленинградцы, ни фронтовики не представляли фактического положения своих родных, оставшихся в городе, и потому не все блокадники могли (или хотели) быть до конца откровенными и рассчитывать на полное понимание. «У меня нет желания писать письма, – замечала писательница Е. А. Боронина, автор другого дневника. – О чем, зачем. Они же там все равно не поймут. Это надо испытать самому».

К тому же письма самих эвакуированных вызывали порой обостренное недоумение изголодавшихся ленинградцев, которым их родные жаловались на то, что «у них, в Сибири, трудно купить теперь сахар и манную крупу», и просили выслать посылки. Погибший в блокаду художник Сергей Ганкевич в связи с этим констатировал в дневнике: «Никто не знает истинного положения вещей!».

В написанных спустя годы воспоминаниях мемуаристы-блокадники вольно или невольно могли «править» прошлое – таково свойство людской памяти. Трудно вспоминать события давних лет, избегая

оценок, возникающих, как правило, из более благополучного настоящего. При этом произвольно меняется восприятие отдельных эпизодов блокадной повседневности, одни факты мемуаристами смягчаются, другие – особо подчеркиваются, а третьи – вовсе забываются, как бы «вычеркиваясь» из памяти как слишком тягостные.

Другое дело – дневники. Именно в них непосредственно, так сказать, «с листа», «без ретуши и купюр» фиксировались события блокадной действительности и переживания их конкретными людьми. Именно дневники в большей степени, чем другие мемуарно-автобиографические тексты, рассказывают о том, как переживали блокадники выпавшие на их долю жестокие испытания, и создают «эффект присутствия» в блокадной повседневности.

Известно, что потребность вести дневник возникает с особой остротой в поворотные моменты истории. Военные события лета 1941 г. разворачивались стремительно, и блокада «опрокинула» жизнь ленинградцев уже через два месяца с начала войны, когда немцы подошли к городу и взяли его в кольцо. Пугающее слово «Осада!» впервые появилось в дневнике Крайского 25 авг. В дни сентября другая ленинградка писала: «Плакаты со словами „Враг у ворот города“ жгут мой мозг. Все темнеет вокруг». Будущее каждого жителя определялось особым положением Ленинграда, и в это «переломное» время у человека возникало желание оставить *свое* свидетельство о происходящих событиях, имеющих судьбоносное значение как для него самого, так и для страны в целом. Так появлялись бытописатели блокады.

Летопись города велась не только культурной элитой Ленинграда – учеными, историками и литераторами, но и рядовыми ленинградцами, которые писали дневники «не мудрствуя лукаво, не переделывая, а просто, как выльется из-под пера», и хотели, чтобы их страницы были прочитаны «другим», «особенно посторонним» лицом. «Ведь многие и не представляют, что здесь происходит», – объяснял Ганкевич свое решение описывать исключительные обстоятельства блокадной поры. Другой автор, учитель И. И. Мальяревский, писавший дневник («ночник») по ночам, отмечал: «Катя бранит меня, что я веду дневник <...>. Вместо того, чтобы лечь спать, сижу над записями. А мне всё-таки хочется подробней записывать это историческое время. Жалею, что не начал раньше. Много упустил». Так же был настроен и умерший в блокаду А. Крайский. «Для истории, если сохранится тетрадь, – писал он. – Как и чем живут ленинградцы». Его вдова, Е. П. Крайская, продолжавшая записи после гибели мужа, тоже допускала вероятность прочтения дневника потенциальным

читателем (возможно, далеким потомком). «Если когда-нибудь, кому-нибудь суждено читать эти строчки, – писала она, – будет казаться странным, что люди были настолько голодны, что сырая картошка казалась райским яблоком, а луковица – ананасом».

Кроме того, дневник порой становился единственно возможным средством борьбы и сопротивления *нечеловеческим* условиям блокады. Таков дневник мужественного ленинградца учителя математики, названный «Черные дни черного 1942 года». Силы автора (имя его нам неизвестно) таяли с каждым днем, но блокадник продолжал перечислять ленинградские испытания с ровной интонацией, без паники, не давая воли эмоциям. Зная, что его записи читают соседи и родственники, он как учитель – *noblesse oblige* – сохранял достоинство, помогая дневниковым *словом* верить в победу окружающим его людям. Наблюдая каждодневно разрушение и смерть, ленинградец мог противостоять им *только* своим дневником, утверждая таким образом собственное бытие по принципу: пишу – значит существую.

Такое мироощущение было свойственно многим. Фактически в каждой сделанной в «смертное время» дневниковой записи помимо блокадного бытописания прочитывается и дополнительный смысл. Ленинградец как бы спешит зафиксировать свою причастность к наступившему дню, заявляя: я жив, я – есть. Показательна в этом отношении запись Ганкевича. «„Сегодня 15-е число (15 января) и мы еще живем“, – говорит Геня, и эти слова, – пишет блокадник, – звучат у нее как победа. И это, конечно, наша победа...».

Еще одна причина, побуждавшая ленинградцев обращаться к дневнику, – психотерапевтическая – заключалась в неосознанном желании людей помочь самим себе и с помощью ведения записей пережить экстремальную ситуацию, в которой они оказались, преодолеть небывалые трудности осады – голод, холод, боль и страх, утрату близких и разлуку с родными.

Такого рода публикуемый дневник М. В. Васильевой, переданный в свое время Ольге Берггольц. Сдержанная на людях («делаю нечеловеческие усилия, чтобы быть спокойной») Мария Васильевна использовала дневник как «книгу жалоб».¹ Вполне очевидно, что ведение дневника помогало ей не обременять своими горестями окружающих и переживать разлуку с эвакуированным в Новосибирск сыном Николаем. Неслучайно последняя запись блокадницы была сде-

¹ Выражение Л. В. Шапориной: «Мой дневник – книга жалоб» (*Шапориная Л. В. Дневник: В 2 т. М., 2011. Т 1. С. 120*).

лана в день его возвращения домой, в мае 1944 г. Можно сказать, что именно этот день стал для Васильевой окончанием блокады.

В определенной степени и для Елизаветы Петровны Крайской ведение записей имело терапевтическое значение: об этом свидетельствует исповедальная интонация блокадницы, поверявшей дневнику самые горькие свои признания, связанные с осознанием вины перед умершим мужем. «Порой мне кажется, – писала она, – что это возмездие судьбы за единую секунду мысли, что „лучше будет, если он умрет“». <...> Я не выдержала до конца испытания...». Лишь здесь, в дневниковом пространстве, Крайская могла облегчить душу, позволить себе осмыслить жизнь «несчастливого Ленинграда» до конца, высказаться без оглядки, написать о том, о чем «говорить нельзя». «Мне кажется, – писала Крайская, – что ни в одной стране, воюющей только год, нет такого хозяйственного упадка как в СССР. А у нас уже через ½ года голод и бесхозяйственность, головоунытие рабочих правителей уж унесли половину жителей Ленинграда в могилу, вторая половина медленно подыхает тоже, и еще часть жителей, которая не знает голода и удивляется, как матери желают смерти своим детям, и наоборот, дети призывают к ней родителей...». «Дворник, и тот хозяин над тобой, свободный советский гражданин!» – восклицала она в дневнике, как бы освобождаясь от мучительного груза невысказанного.

Ирина Дмитриевна Зеленская, автор блокадных и послевоенных записей, тоже доверяла дневнику, помимо бытописания осады, жизнь «внутреннего человека». «Вытянувшись в струну» на работе, Зеленская «оглядывала» себя дома, и тогда, наедине с собой, в ее дневнике появлялись пронзительные признания собственных несовершенств и нравственные укоры самой себе. Очищающая душу – *дневниковая* – исповедь помогала восстановлению духовных основ ее личности. Дневник Зеленской демонстрирует ее способность «заглянуть дальше и глубже» в себя, дойти до «главных язв», своих и общественных, и «осветить» их.

Помимо близких побуждающих мотивов к ведению дневника ленинградцев объединяла и общность пережитого, которая приводила к тому, что авторы осмыслили в дневниках – в соответствии с блокадной шкалой ценностей – самые главные, самые насущные проблемы той поры.

Практически в каждом из публикуемых дневников сообщалось о нормах на хлеб, подробно описывались мучительные поиски продуктов: унижительную сцену добывания хлеба в магазине описала Боронина, а уже лежачий, угасающий Крайский восклицал: «Чтобы

получить обед, человека надо послать на смерть!». Не менее рискованно выглядели «путешествия» за водой, но наиболее страшными были страдания от нестерпимого голода. Состояние болеющего язвой желудка Крайского, для которого скудный блокадный рацион был порой равносильным проглоченным гвоздям, было просто непереносимым.

Часто упоминались в записях похоронные саночки – печальный символ блокадной повседневности. «То и дело провозят мимо по дороге на кладбище зашитые в одеяла или простыни „коконы“, – писала ленинградка. – Должно быть, всю оставшуюся жизнь не смогу смотреть на детские саночки, не вспоминая жуткую поклажу, к кот<орой> их приспособили теперь».

В публикуемые дневники авторы включали сходные блокадные свидетельства. Жителей города успокаивала облачная и дождливая погода, как спасение от бомбежек, и не радовало солнце. «Три миллиона ленинградцев, – писал Крайский, – с ужасом смотрят на проясняющееся небо, на выглядывающее солнце». В соответствии с той же шкалой ценностей описывала и Васильева погодные условия. «День и ночь – сутки прочь – прошли спокойно, – писала она, – т<ак> к<ак> было очень пасмурно. Пасмурно – какое чудное слово». Заметим, что аналогичное восприятие хмурого неба было и у других бытописателей блокады.²

Еще одно часто встречающееся свидетельство – появление необычного страха перед обстрелом и бомбежкой, т. е. *осознание себя мишенью*. Известно, что ленинградцы по-разному держались на улицах города. Так, например, Вера Кетлинская писала, что она не верила, что бомба или снаряд угодит именно в нее, но вспоминала, что Ольга Берггольц «драматически ощущала каждую бомбу и каждый снаряд нацеленными прямо в нее – и все же ходила не прячась».³

«Чувство мишени», парализующее волю, возникало в человеке не сразу. Ощущение опасности в блокадной повседневности шло по нарастающей: от отсутствия страха вообще до возникновения животного ужаса. «...Я даже не испуга<лась>, – писала ленинградка в начале блокады, – до того показалось абсурдным: какой-то предмет летит и ложится мирно возле меня». И совсем иначе она же реагировала на обстрел позднее: «Злопамятная ночь. Снаряды рвались в непосредст-

² Так, например, Г. А. Князев, директор архива Академии наук, писал в дневнике: «И с благодарностью смотрел я на сизые тучи, заволочшие небо. Сегодня, быть может, не прилетят стервятники: погода явно нелетная» (*Князев Г. А. Дни великих испытаний. Дневники 1941–1945.* СПб., 2009. С. 224).

³ *Кетлинская В. Испытание // Вспоминая Ольгу Берггольц.* Л., 1979. С. 117.

венной близи больничного домика, в кот<ором> мы живем. Просто-
яли около трех часов под угрозой. В конце я свалилась в обмороке,
познав весь ужас чувства животного, предназначенного к расстрелу,
длящемуся часы. Кто может представить себе это?

Осознала чувство мишени».

Этот страх был знаком и Марии Васильевой. Он появился у нее
после усилившихся обстрелов города из дальнотойных орудий осе-
нью 1943 г. Со слов соседки Васильева пересказала в дневнике траги-
ческий случай, во время которого снаряд попал в толпу, ждавщую
трамвая на остановке на углу Невского проспекта и Садовой улицы.
«Груда трупов, – писала Васильева. – Маруся случайно попала сразу
после разрыва. Трамвай, на котором она ехала поперек, не остано-
вился, но из окна она видела весь ужас. На обратном пути видела, как
мыли мостовую и посыпали песком. Боже мой, какой ужас!». Вооб-
ражение блокадницы поразил, видимо, и сам процесс смывания крови
с мостовой. Между тем «„Скорая помощь“ была проинструктирована,
чтобы сразу после взрыва снаряда смывать с мостовой пятна крови».⁴
Этот же эпизод пересказала и Е. П. Крайская, с горечью резюмируя:
«Убирали, замывали, и снова город жил, чтобы умирать ежеминутно».⁵

После этой истории повидавшая уже немало горя Васильева при-
знавалась в «уличном» страхе в дневнике: «Очень страшно. Боюсь
улицы. Надо заняться собой. Нельзя так распускаться. Почему же до
сих пор я не боялась?». Событие на Садовой, «закрепившись» в соз-
нании блокадницы, продолжало вызывать страх и в декабре 1943 г.:
«На обратном пути попала на Садовой под обстрел. Было страшно.
Очень я стала бояться. Почему?». Теперь, в надежде на освобождение
города, Мария Васильевна собирала последние силы: «Бьет жутко,

⁴ См. об этом: *Верт А.* Пять дней в блокадном Ленинграде. СПб., 2011. С. 90.

⁵ Очевидцем события был и А. В. Буров. «Я ожидал трамвая на остановке у пере-
сечения Невского и Садовой, – сообщал он. – Народу было много. <...> Неподалеку от
меня стояла женщина с большим пучком корешков, собранных, должно быть, на од-
ном из ближайших огородов <...> Внезапно что-то грохнуло и налетела тугая волна,
оставившая после себя облако кисловатой гари. Первое, что я увидел, – это лежащую
на асфальте женщину. Ту самую, что за мгновение до этого стояла с охапкой зелени.
<...> Ее мертвенно-бледное лицо было безжизненным. На только что оживленном
перекрестке стало пустынно и скорбно» (*Буров А. В.* Блокада день за днем. СПб., 2011.
С. 560). Английский журналист А. Верт записал рассказ ленинградского шофера:
«Эти хитрые сукины дети превратили в кровавое месиво трамвайную остановку на
углу Невского и Садовой, – говорил Верту шофер. – <...> Там пострадали все: кого
убило, кого ранило – такое зрелище, просто кошмар» (*Верт А.* Пять дней в блокадном
Ленинграде. С. 25).

долго и всюду. <...> Надо терпеть. Во что бы то ни стало хочется уцелеть».

Похожее «чувство мишени» испытывала и Крайская: «От одного этого состояния мыши, попавшей в капкан, нужно бы бежать, бежать без оглядки. И не бежится, уж очень везде нерадостные картины».

Сходные оценки давали авторы дневников изменениям этических норм, порожденным блокадой. Они отмечали разрушение семейных связей, отношение к смерти как к обыденности, тайное подбрасывание трупов, очерствелость и равнодушие. Особенно пугающим было проявление животных инстинктов. «Женщина съела соседку, – сообщала Боронина. – <...> Потом женщину убили. Устроили поджог. Потушили. Милиционеры не могли вести следствие от ужаса и отвращения». Недвусмысленную картину наблюдал и учитель географии Мальяревский. «Сегодня видел, как милиционеры вели парня, – писал он, – сильно изнуренного, оборванного, а один из милиционеров нес окровавленный топор. Должно быть, разыгралась тяжелая драма».

В этих условиях, несмотря ни на какие уродства блокады и войны, настоящий «Ленинградец» (Елизавета Крайская подчеркнуто писала это слово в дневнике с заглавной буквы) стремился сохранить в себе достоинство и оставаться во что бы то ни стало человеком. Таковой была блокадная этика ленинградки М. В. Васильевой. О чем бы она ни писала, ее дневник пронизывала главная мысль: надо быть «безотносительно честной». «Пишу, что есть, – восклицала Мария Васильевна по случаю одного инцидента на службе, – и никто не заставит меня написать, чего нет». Но это ее заявление можно отнести ко всем записям, которые вызывают полное доверие. Ключ к пониманию ее личности – ленинградки, блокадницы, любящей матери и истинной сестры милосердия – заключен в простых, обыденных словах ее дневника: «С работы поехала в церковь, всё со своими просьбами. На душе полегче. Не знаю, как благодарить за то, что жив Коля, за то, что столько хороших людей, за то, что *уцелела и осталась человеком сама*» (курсив мой. – Н. П.). Именно в этом и состоял героизм жизни в блокаде – сохранить человечность, «спасаться, спасая других».

Таких же нравственных ориентиров придерживался и Сергей Ганкевич (ученик П. Н. Филонова). Он в полной мере понимал трагичность положения ленинградцев, но все же его записи имеют другие коннотации. Сергею Васильевичу довелось близко наблюдать изменение (разрушение) личности на примере доброй в сущности женщины, Евгении Михайловны, сестры жены, приютившей Ганкевичей в своей отапливаемой квартире. Он видел этот – порожденный голо-

дом – распад, но *не хотел* его видеть. Никакие обиды не могли заставить Сергея Васильевича произнести свояченице окончательный приговор: сострадание к женщине брало верх. «Я понял ее, – писал Ганкевич, – к ней надо относиться как к больному, ненормальному человеку. <...> Это болезнь, а выздоровление еще очень не скоро, и не стоит больше говорить об этом». Художник *не хотел* признавать «худшие проявления животной природы» – людоедство, не стал он описывать в дневнике и безобразную семейную сцену (обезумевшего от голода тестя), подробности которой читателю становятся известны лишь из позднейшего комментария. Сергей Васильевич искал свой способ «перемещения внимания» с ужасов блокады на то, что помогало выжить, и находил его в чтении книг по истории живописи, пытался работать, писал «ленинградский пейзаж из окна», автопортрет, строил планы до последних дней жизни.

Искусство, и в особенности музыка, действительно способствовало «переключению» внимания и давало возможность блокадному жителю хоть ненадолго отрешиться от гнетущего настоящего. Известно, что в начале войны у многих соотечественников звучание музыки вызывало «странные» ощущения: она казалось неуместной в эти дни.⁶ Ольга Берггольц отмечала, что «в Ленинграде в те дни не раздавалось по радио ни одной песни, ни одной мелодии»,⁷ а зимой 1941/42 г. «ни концертов, ни музыки – ничего не было», и «по радио тоже очень долго не передавалось ни музыки, ни пения».⁸ Но постепенно, хотя и медленно, объем музыкального радиовещания стал расширяться. По мнению А. Н. Крюкова, перелом произошел в самые мрачные месяцы блокады, когда музыка прорывалась к людям через «безмолвие иного рода – вызванное вынужденным бездействием предприятий и транспорта, резким уменьшением людских контактов, сокращением общего объема вещания».⁹ Исследователь справедливо отмечает, что воздействие музыки «было целительным для всех ленинградцев»¹⁰ (даже при пассивном прослушивании), не говоря уж о меломанах.

⁶ Так, например, П. Н. Лукницкий 15 сент. 1941 г. записал в дневнике: «Музыку слушать томительно и странно» (цит. по: *Крюков А.* Музыкальная жизнь сражающегося Ленинграда. Л., 1985. С. 30). Другой ленинградец, автор блокадных дневников, Кондратьев также вспоминал о прослушивании грампластинок в августе 1941 г.: «Странно звучала музыка в те дни» (Там же.).

⁷ *Берггольц О. Ф.* Собр. соч. Л., 1989. Т. 2. С. 163.

⁸ Там же. С. 171.

⁹ *Крюков А. Н.* Музыка в эфире военного Ленинграда. СПб., 2005. С. 61.

¹⁰ Там же. С. 80.

Неслучайно поэтому в публикуемом дневнике неизвестной блокадницы, сохранившемся в архиве О. Ф. Берггольц, восприятию музыки посвящен очень эмоциональный пассаж. «Музыка! – писала ленинградка. – Какой беспробудной ночью была бы блокада без тебя! Какая спасительная, исцеляющая душевные раны сила! Как спасала она нас в мрачные годы суровых испытаний. Мне думается, это именно она, благодаря счастливому изобретению радио, спасла многих и многих из бездны отчаянья и пучины сумасшествия». Такого же рода «перемещение внимания» характерно и для М. В. Васильевой, в дневнике которой особенно проявлена увлеченность блокадницы музыкой, театром и кино (речь идет о 1943–1944 гг.).

В равной мере ленинградцы ощущали и единение с осажденным городом, хотя выражали это чувство с разной степенью эмоциональности. Так, предчувствие надвигающихся испытаний одна из блокадниц, автор дневника «Жестокое испытание...», передала в патетически-приподнятой тональности. «Незабываемый вечер, – писала она в августе 1941 г. – Я постигла Ленинград как некое прекрасное художественное произведение, все неисчерпаемое великолепие кот<орого> я еще никогда не восчувствовала так живо, как в это, казалось мне, прощальное путешествие в почти пустом трамвае по пустынным улицам, по затихшим мостам над невозмутимыми перламутровыми водами. <...> Вечерняя заря тихо догорала. Спокойствие и воля к долго терпению осенили нас».

В то же время, несмотря на общность пережитого, у каждого из ленинградцев был свой «малый радиус» блокадной жизни. Некоторые авторы тяготели к обобщению блокадного опыта, делая неожиданные, казалось бы, выводы. Судя по дневниковым записям, человеческая потребность в гармонии, красоте наиболее остро проявлялась именно в *непостижимое* время осады города. В декабре 1941 г., отстояв на сильном морозе в очереди за хлебом, автор дневника «Жестокое испытание...» писала: «После канонады *подчеркнуто захватывает* (курсив мой. – Н. П.) красота тихого зимнего раннего утра. Думается: именно для этой картины должна быть написана музыка. Странно: благодаря очередям присутствую при утреннем пробуждении природы и краешком сердца ликую, невзирая на душевную боль и горечь...». Ленинградка неоднократно рефлексировала о неизбежности победы красоты над хаосом, кровью и смертью. Попав однажды в разоренный дом, женщина увидела среди «неимоверного беспорядка» бюст греческой богини «безмятежно взирающей на весь окружающий непостижимый хаос», что тоже показалось ей символичным. В этот

же день и позднее она отмечала в дневнике свои впечатления. «Прекрасное, безоблачно спокойное лицо глядящей вдаль Афродиты... Как оно неуместно, – писала блокадница, – и в то же время как ценно именно здесь, среди хаоса и ужаса войны – как воплощение всепобеждающей красоты и правды».

По-разному – непредвиденно – люди входили в блокадную жизнь и так же – непредсказуемо – выходили из нее. Так, поэтесса и драматург И. А. Гриневская встретила блокадные испытания в преклонном возрасте – 77 лет, и волею судьбы (по уточненным данным) ей удалось дожить до полного освобождения города от вражеской блокады. Ее отрывочные дневниковые записи (и наброски стихов) передают состояние старого, видимо, не совсем адекватно воспринимающего блокадную повседневность человека. Тем не менее они свидетельствуют об общественном темпераменте ленинградки и отмечены пафосом осуждения войны и порабощения одного народа другим. Вера в победу над врагом проявлена и в самом «негероическом» из публикуемых дневников – записях Крайского, который заявлял: «Россия – не только сфинкс. Россия – Феникс! Я это знаю».

Военному писателю И. Ф. Кратту посчастливилось пережить блокаду. Судя по дневнику, он долго не поддавался обстоятельствам, сохранял интерес к работе даже тогда, когда другие теряли человеческий облик, становясь «пещерными жителями». Кратт продолжал держаться, не опускался. Вероятно, резерв психических возможностей у него был больше, чем у тех, кто просто плакал от безысходности, от невозможности помочь себе и близким. «Плачут в бессильной слабости мужчины, – отмечал писатель в дневнике. – Пошехонов ревел у холодной печки». Когда же и его психика ощутила «предел», когда чувства притупились настолько, что «смерть стала привычной», Кратт прекратил вести дневник. И лишь выйдя из зимнего круга блокады, он вновь обратился к нему и завершил записи «знаменательными» днями освобождения Ленинграда и взятия Берлина.

Особое значение имеет публикуемый дневник Жени Рыбиной, который она начала писать по совету родных. В память десятилетней девочки навсегда врезались страшные картины войны. Она запомнила все: несостоявшуюся эвакуацию из Ленинграда, первые бомбежки, груды трупов на набережной р. Карповки (место, которое позднее Евгения Николаевна обходила стороной), голод и нападение людоедов. Однако в ее единственно сохранившейся дневниковой тетрадке описание событий предельно сужено и фактически не выходит за рамки продовольственной темы. С недетской пунктуальностью Женя

Рыбина фиксировала главную заботу ленинградцев: как, где и сколько удалось получить «объявленных» продуктов; на какие карточки (детскую, рабочую или «служащую») их выдают. Долгожданным и центральным моментом дня был прием пищи, которой всегда было «очень мало» – «кусочек», «ложечка», а порой, по словам девочки, есть было «опсалютно» нечего... Таким был травматический опыт ребенка – реального участника блокадного бытия.

«Подъем из бездны» блокады и войны – это, пожалуй, основная тема размышлений И. Д. Зеленской, автора записей 1943–1947 гг. По долгу службы ей приходилось общаться с разными людьми, погруженными «в море нужды и лишений», в состоянии «психического» голода и одиночества. Зеленская не ограничивалась оказанием им только официальной помощи: «тревожное чувство», что надо было еще что-то сделать, не покидало ее и дома. Она умела «широко открытыми глазами смотреть вокруг себя» и, разглядев непростые для времени вопросы, погрузиться в них, не боясь появляющихся в душе противоречий. Так, при естественно возникающих надеждах на обновленное послевоенное будущее она трезво отдавала себе отчет в том, что «на самом деле все останется по-старому. И люди забудут урок этих исключительных лет...». Отдыхая в послевоенной Латвии, она «мучилась» проблемой взаимоотношений людей разных национальностей: русских, латышей, немцев. При виде сотен военнопленных, работавших на восстановлении народного хозяйства, Зеленская переживала внутренний разлад: «элементарная человечность» боролась в ее душе с чувством «нутряного отталкивания».

Любопытно, что один из сюжетов дневника Зеленской напрямую перекликается с записью в другом женском дневнике на ту же тему. Он касается рождения «нового земного жителя», нового ленинградца. Это явление, – на излете блокады оно уже было возможно, – воспринималось обеими женщинами не иначе как победа над смертью. «Умиротворяет мысль, – писала автор дневника «Жестокое испытание...», – что скоро появится на свет ребенок. <...> И то, что он будет так близко, и то, что он будет тихонечко пищать в своей невинности как в крепости, что его безмятежность в дикой внешней обстановке станет реальностью, – утешает меня. Раз возможно существование крошечного, нежного, хрупкого существа, значит, еще осталась нормальная жизнь, – не все еще поглотил хаос, безумье, ужас, смерть. Сознание этого успокаивает, придает новые силы». Запись Зеленской сделана в менее патетической манере, но и она манифестирует переход к другой, *человеческой* жизни. В то же время сопоставление двух

характерных записей показывает, что острота восприятия жизни у Зеленской острее, а рефлексия «дальше и глубже». Ирина Дмитриевна обратила внимание и на другую, теневую сторону события. «После Смертного года, – писала она, – когда женщины не были женщинами, а мужчины перестали быть мужчинами, жизнь как будто навёрстывает упущенное, и волна плодовитости захлестнула молодежь. На улицах видишь множество беременных женщин, к нам в Отдел без конца приходят демобилизованные девушки из армии, грудные младенцы перестали быть дикостью. Возможно, что кое-кто из этих молодых матерей не очень точно знают отца своего ребенка, кое для кого „блокадный” муж был в свое время нужен, прежде всего, как источник лишнего килограмма хлеба. И вообще, кто может ручаться за прочность военного брака, когда ежечасно его может разбить смерть? Но я не в состоянии морализировать, я вижу только, что жизнь оказалась сильнее смерти; а там, где появляются новые ее ростки – дети, – этим все оправдано».

Умение Зеленской разглядеть «главные язвы» времени делают ее послевоенные записи ценным свидетельством моральных, психологических, бытовых и национальных проблем, с которыми столкнулся победивший народ.

Публикуемые блокадные дневники, как и судьбы их авторов, не похожи друг на друга. Каждый из них хранит свою «печальную историю», которая вливается в *победоносную трагедию* блокадного Ленинграда.

Обнародовать *каждое блокадное слово* – от обширного дневника известного человека до последней, отрывочной записи простого ленинградца – наш долг.

Н. А. Прозорова